

Сигов К.Б.

СВИДЕТЕЛИ ПРАВДЫ: ОТ ДЕЛА БЕЙЛИСА К ДЕЛУ ГЛАГОЛЕВЫХ

Оправдание без вины осужденного человека (например, по фамилии Дрейфус или Бейлис) как *исторически* значимое, *мировое* событие – таков новый горизонт человечности, «просвет» на пороге XX века...

В открытие этого горизонта внес свою лепту свидетель защиты Менделя Бейлиса профессор-гебраист Киевской Духовной Академии священник Александр Глаголев (14.02.1872 – 25.11.1937). Избавление от клеветы ни в чем не повинного согражданина, киевского еврея, обрело правовую силу прецедента, обозначило предел беззаконию.

Подсудимый (как это случается и сегодня) пассивно «бездеятельно» претерпевал то, что на протоколно-тюремном языке именуется «делом». Снятие ложных подозрений и облыжных обвинений, *оправдание человека*: в такой отчетливой правовой форме приобрел широкую огласку, но, по сути, только приоткрылся смысл того большого исторического *дела*, с которым связано глаголевское имя.

Прямой, «физический» смысл этой инициативы (еще не отчеканенный в правовых формулах) выразил отец Александр Глаголев, когда встал на пути погромщиков, шедших крушить подольские лавки. Тогда с ним вышли против бесчеловечности прихожане храма Николая Доброго, верные своему настоятелю и другу. Но насколько одинок был его путь в последующие глухие годы, вплоть до допросов и гибели в 1937 году? Настоятель разрушенного храма Николая Доброго не принимал навязываемого ему статуса одиночки, изгоя, «отщепенца» — не следует и нам сводить его дело к «исключению из правила».

Первая мировая война годами фронтовой бойни, миллионами «оптовых смертей» (О. Мандельштам), казалось, изгнала лицо и личность с исторической сцены, заслонила приоткрывшийся горизонт новой человечности. Большевизм и гражданская война навязали тот взгляд на вещи (классы, группы, прослойки), который три четверти века не позволял ни различить размах глаголевского дела, ни вдуматься в его подлинный смысл.

Свидетелем правды, ключевым свидетелем глаголевского дела спасения людей стал Алексей Александрович Глаголев Глаголева (02.06.1902–23.01.1972): четыре года спустя после гибели отца в Лукьяновской тюрьме он принимает крест служения священника. С первого дня (точнее, ночи) трагедии Бабьего Яра в Киеве спасительным ковчегом для многих еврейских семей стал дом Глаголевых на Подоле, и Варваринская церковь [1, с.372-377].

Праведниками мира провозгласил Израиль отца Алексея, Татьяну Павловну, Магдалину Алексеевну и Николая Алексеевича Глаголевых. В мире растет сознание фундаментальной значимости глаголевского наследия для «нового дыхания» иудео-христианского диалога в Восточной Европе.

Свидетельство из первых рук участницы тех событий, дочери отца Алексея и Татьяны Павловны Глаголевых, – воспоминания Магдалины Алексеевны, передают сегодня читателю точный фактический материал, и вместе с ним важнейший элемент данных о деле их семьи: живой *дух*, который одушевляет его.

Именно этот дух освобождает от протоколно-тюремного новояза само понятие «дело» (этот акцент чекистов вошел в частотный словарь диссидентов, а в последнее десятилетие его консервируют архивисты). Здравый смысл и просто здоровое ощущение неискаленной речи сопротивляются механическому повторению слов, которые Магдалина Алексеевна Глаголева не только берет в кавычки, но и переносит в совершенно иной нравственно-исторический контекст. «До закрытия Киевской Духовной Академии в 1934 г. А. А. Глаголев был там профессором кафедры библейской археологии и древнееврейского языка. Кроме того, он знал 18 классических и европейских языков. И всей своей жизнью он опровергал излюбленные обвинения антирелигиозников в адрес духовенства: невежество, тунеядство, одурманивание народа в корыстных целях и

т. д. Машина НКВД поставила задачу уничтожить этого священника и создала “дело” о якобы его “активном участии в антисоветской фашистской организации церковников”...

Отстранение этого набора убийственных «букв» (конденсат атмосферы патологической подозрительности той эпохи) возвращает возможность увидеть лицо человека, ясно запечатлевшееся в памяти его внучки и крестной дочери. Она заботливо отстраняет и другую крайность: неуместное восхваление глаголевского подвига по меркам той логики, для которой “без всяких элементов тщеславия” непредставимо величие исторического дела. Но в том-то и тайна его правды: «Для него характерны смирение и простота. Не та *sancta simplicitas*, о которой говорят в отношении ребенка или простака, многого недопонимающего. А простота от мудрости. Мудрость и предельное незлобие — любовь к людям».

«Предельное незлобие» как новое определение правды — Божьей и человеческой — было явлено в том столетии, когда, казалось, озлобление и злопамятность были возбуждены до предела. От нас эти события требуют того редкостного качества, имя которому стереть не удалось: *непамятозлобие*. Его смысл выходит далеко за рамки психологии. Перемена ума («метанойя») предполагаемая непамятозлобием — глубже персональной незлопамятности. По сути, речь идет об изменении основных навыков отношения к миру, к Богу, к людям, к прошлому и к настоящему.

Злобу дня нас приучают оценивать согласно социологическим опросам «электората». С понятием «масса» играют в пасс ставящие себя вне её или над ней. В приговорах нашему злосчастному прошлому не только журналисты, но и ученые без особых оговорок употребляют слова «все» или «никто». Такие «тотальные» рефлекс (называть ли их суждениями?) в спорах о тоталитарном наследстве, увы, зачастую, даже не ставятся сознанием под вопрос.

Я отмечаю за собой этот грех, читая и перечитывая страницы глаголевских воспоминаний. Проходят годы и десятилетия, но так трудно вырваться из круга огульных приговоров, размашистых обобщений, безоговорочных вердиктов. Всеведение на службе обличительства стало такой расхожей монетой, что как бы не с руки проверять — а не фальшива ли она?

Взвешенность каждого слова и беспристрастная точность суждений в этих воспоминаниях представляет собой некую максиму. В свете её многие привычные элементы словаря придется пересмотреть. Разве возможно, прочитав *такое*, не отказаться от речевых жестов, узурпирующих божественное всеведение: «они все как один», «все до одного», «ни один человек» и т.п.? Бросая камень подобных суждений, я не могу не участвовать в сговоре замалчивания (вольного или невольного, но отныне с сознанием дела) поступков и жизни этих свидетелей.

Ответственность и свобода в настоящем, как ни странно, зависят от глубины нашего удивления при встрече с такими поистине дивными людьми: нить живого предания — из уст в уста — так и не удалось разорвать? Тоталитарные машины, с востока и запада калечившие Киев, — так и не перерубили принявшийся здесь тысячелетний корень лозы иерусалимской [2]?

Око начальства проглядело (а наши схемы «тоталитарного человека» продолжают вычеркивать) такую странную личность, которая умудрилась не вступать ни в октябрюта, ни в пионеры, ни в комсомольцы, ни разумеется, в партию, и при этом потрудиться после войны треть века врачом, коллегой доктора Живаго. Типизировать или обобщать, опять-таки, я тут ничего не намерен. Невыдуманная подлинность духовной жизни человека «постпастернаковского» поколения сегодня предлагает больше вопросов, чем ответов. И первый вопрос не в биографических перипетиях автора в открытых перед нами свидетельствах, а в грубости наших социо-исторических методов для их истолкования. Градация грубости, милостью небес, не безгранична.

Как быть с данными, бросающими вызов нашим теориям? Ум не находит для них места в наших схемах, но ощущению уже явлена мощь реальности неистребимой,

одолевшей адовы круги уничтожения и в теории, и на практике [3, с.7-15]. Суть дела не упрятали ни в подвалах, ни под сукном: «Мой отец объяснял, что великомученики среди других христианских мучеников, называются так потому, что их не только много мучили, но, «умирая в коллизиях», на площадях, они воздействовали своим примером на других, и те, в свою очередь, принимали мученическую смерть. У наших мучеников не было свидетелей. Они были лицом к лицу со своими мучителями. Поэтому о них нужно говорить не ради них, а ради живых, подвигая их на добро».

Тоталитарная идея изнасиловать историю «без свидетелей» была отброшена категорической неустрашимостью свидетельских показаний тех, кто «был там», видел и дает видеть происходившее другим. «Видите» - ключевой жест и рефрен в пронзительных строках 40-х годов о Бабьем Яре у Ольги Анстей, духовной дочери о. Алексея Глаголева:

...*Видите* этих старух в платках,
Старцев, как Авраам величавых,
И вифлеемских младенцев курчавых,
У матерей на руках?
Я не найду для этого слов.

Видите – вот на дороге посуда,
Продранный талес, обрывки Талмуда,
Ключья размытых дождем паспортов...[4]

О том, сколь трудно (но и неизбежно!) это свидетельское служение по самой природе вещей, дело говорит яснее слова и заодно с ним [5, с.101].
Здесь мы приблизились к сути нашей проблемы.

Преступные режимы были названы своим именем в свете свидетельств об Освенциме и ГУЛАГе.

Свет свидетельств не только табуировал практику тоталитаризма, но и опроверг ключевое положение его идеологии (все позволено «без свидетелей», без Другого).

Светом свидетельств пока высвечена только верхушка айсберга тотальных идеологий последних столетий; но с ними подспудно связана масса наших привычных схем, понятий, навыков мышления, по инерции исключается свидетельское измерение мысли о событиях.

В XIX веке всеохватно-энциклопедическому теоретизированию гегелевского типа бросил вызов Киркегор, опираясь на библейское повествование о первосвидетеле правды — Аврааме. В истолковании дела «рыцаря веры» родилась экзистенциальная философия, переменявшая горизонт мысли XX столетия. После искушения миражами глобальных идеологий мысль XXI столетия остро нуждается в возобновлении контакта с несговорчиво-конкретной реальностью, с первоистоками диалога Афин и Иерусалима. Опорой в таком деле может послужить библейская мощь глаголевских деяний [6, с.370].

Источники и литература

1. В. Гроссман, И. Эренбург. Черная книга. - Вильнюс, 1993. - С. 372-377
2. «Что слова, когда нам запрещен наш зеленый у Днепра святого Многохолмный наш Сион...» Ольга Анстей, «На реках вавилонских»
3. «Протиерей Александр Глаголев» / Записки священника Сергея Сидорова. - М., 1999. С.7-15.
4. Ольга Анстей. Собрание стихотворений. - Киев. - Радуга, 2000.
5. «Стихе об уверении Фомы» у С. С. Аверинцева
6. Священник Александр Глаголев. // Купина неопалимая. – Киев. -2001.-370с